

У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ

К. СИМОНОВ.

Вестра

ЗНАМЯ

СЕГОДНЯ у нас в гостях журнал «Знамя». Мы публикуем новые произведения прозаиков и поэтов, которые будут напечатаны в этом журнале.

Во второй половине года в журнале «Знамя» будут напечатаны вторая книга романа Константина Симонова «Живые и мертвые» и новый роман Юрия Трифонова «Утоление жажды», посвященный строителям Каракумского канала, новые повести М. Алексеева «Хлеб — имя существительное», Л. Леонова «Eugenia Ivanovna», шестая книга «Повести о жизни К. Паустовского», новая повесть П. Нилина, рассказы Ю. Казакова, В. Конечного, Ю. Нагибина, Н. Тихонова (из цикла «Странницы воспоминаний»), М. Юфит и др., стихи П. Бровка, Н. Грибачева, Эд. Межелайтиса, Р. Рождественского, В. Федорова и других, очерки, статьи, библиографические заметки.

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ журнал «Знамя» печатает новый роман Константина Симонова, продолжающий известные читателю произведения «Товарищи по оружию» и «Живые и мертвые». События романа относятся к началу 1943 года — времени окончательной ликвидации фашистской армии Паулюса на Волге. Публикуемый ниже отрывок рассказывает о встрече в Москве капитана Артемьева (после тяжелого ранения он служил в штабе Верховного Главнокомандования) с военным врачом Татьяной Овсянниковой, вернувшейся из партизанского края.

КОГДА АРТЕМЬЕВ вошел в знакомый подъезд и постучался в знакомую, постаревшую дверь с ободранной клеенкой, ему открыл незнакомый мальчик в валенках, ватных штанах и накиннутой на плечи стеганке.

— Я Артемьев, — сказал Артемьев, — мне дали этот адрес...

— Да, да, заходите, — протягивая руку, сказал мальчик девичьим голосом. — Я — Овсянникова.

Рука была маленькая, крошечная и очень горячая.

— Пойдемте в комнаты...

— Можно раздеться? — спросил Артемьев.

— Как хотите. Я сама тут замерзла с утра, да же руки над керосинкой грела... Пойдемте лучше на кухню, — добавила она. В ту зиму во всех московских квартирах говорили гостям одно и то же.

— Я все же разденусь, — сказал Артемьев и скинув шинель, встал за девушкой в ватнике прошел через большую ледяную переднюю, мимо открытых настежь дверей в столовую, загроможденную красным деревом.

На кухне было теплее, на керосинке грелся чайник. По стене стояла узкая железная кровать и пружинный матрац с подложенными вместо козел стопками книг. На матраце, поверх одеяла, лежал новенький полушубок.

— Вы накиньте полушубок, если холодно. Хотя он маленький, — сказала девушка, смерив взглядом массивную фигуру Артемьева. — А я с утра вот так, по-партизански.

Она дотронулась до полы накиннутой на плечи стеганки и вдруг смутилась под взглядом Артемьева. Под стеганкой у нее была только заправленная в ватные штаны солдатская бязевая рубашка, завязанная на тонкой шее тесемками. Солдатскую бязь отпорывали два высоких острых холмика — этого она и застеснялась, и уже отвернувшись и стоя спиной, засовывая руки в рукава и застегивая ватник, сказала:

— Извините, я думала — это моя хозяйка пришла...

Она была острижена коротко, как мальчик, и сидела на шее у нее был мальчишеский завиток отросших волос. Так когда-то до войны стриглась Маша. Только волосы у нее были гораздо темней, чем у этой.

Она повернулась к Артемьеву, застегивая последний крючок. Лицо у нее было простенькое, но милое, даже, наверное, хорошенькое, только очень бледное и истомленное, а выражение этого лица было странное — одновременно и решительное, и растерянное.

— Ну, что вы мне скажете? — спросил Артемьев, уже предчувствуя, что ему не скажут сейчас ничего хорошего.

— Я вам должна рассказать про вашу сестру, — сказала девушка голосом, которым не говорят про живых. — Меня зовут Овсянникова, Татьяна Васильевна, Таня... Вы садитесь...

И сама села на лежавший на пружинном матраце полушубок.

Артемьев опустился на табуретку напротив и продолжал смотреть на нее:

— Я вернулась оттуда, правда, уже полтора месяца, но я была в госпитале...

— Вы только без предисловий. Что сестра погибла, я уже слышал, — сказал Артемьев с последней отчаянной надеждой.

Но она не остановила его и не крикнула «нет», а удивленно и долго смотрела на него и молчала. Готовила себя к одному, а вышло другое: оказывается, он знает.

— Говорите, чего молчите, — сказал Артемьев. — Я знаю только одно: что погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как — расскажите. Хуже не будет.

Сказала, хотя чувствовал, что нет, будет хуже, гораздо хуже.

А Таня смотрела на этого совсем не похожего на сестру большого, сильного и по тому, как он говорил с ней, показавшегося ей грубым человеком, смотрела и все еще не знала, с чего начать. С того, как погибла Маша? Или с того, с чего собиралась начать, когда заранее думала об этом разговоре, — как они встретились и подружились и что ей говорила Маша в те дни и в ту последнюю ночь, когда на рассвете ушла на явку в Смоленск...

— Ну, что вы из меня жили тянете, — сказал он все тем же грубым голосом.

— Я не знаю, как она погибла, — сказала Таня, — я не была при этом. Я только знаю, что она пошла на явку в Смоленск, и все было очень хорошо подготовлено, она не должна была провалиться... А потом, через день, узнали, что она так и не пришла на явку. А потом, через две недели... Там в магистрате у нас работал один человек, он передал нам копию списка приговоренных, и ее имя тоже там было... по документам. По документам она была Вероника... Командир нашего отряда думал, что их собираются казнить в одном месте, которое мы знали, и мы сделали засаду, и я тоже ходила... А их казнили в другом месте, переменили...

Артемьев встал, подошел к керосинке, снял чайник и налил воды в кружку.

— Возьмите заварку, — сказала Таня.

Но он не ответил; стоял у плиты и долго, мелкими глотками пил горячую воду.

Допил, поставил кружку на плиту, подошел к Тане и, ничего не говоря, потянул за край полушубка. Она поняла и пересела, освободив полушубок. А он, накиннув этот полушубок-недомерок на плечи и прихватив его рукой у горла, заходил по

кухне. И по его руке, жестко сцепившей у горла борта полушубка, было видно, как ему трудно совладать с собой.

— Ну, и что дальше? — спросил он своим грубым голосом.

— Что дальше? — Таня не поняла, чего он хочет. — Что может быть дальше?...

...Дальше — сверху ровная, такая же, как всюду, пелена снега, а под снегом наспех накинанные куски мерзлой земли, а под ними — босые, полуголые трупы, мужские и женские, со страдальчески вывернутыми, склоненными к плечу головами, с негнущимися шеями, с раскинутыми в стороны руками со скрюченными, еще царапавшими землю и умиршими уже потом, после всего остального, пальцами...

Она была, когда недавно, в ноябре, раскапывали такую яму. Раскапывали потому, что хотели проверить — на самом ли деле немцы расстреляли одного провокатора или только сделали вид, что он расстрелян вместе со всеми, а сами отправили его работать в другое место.

А потом, весной, земля начинает оседать, и там, где была ровная снежная пелена, становится виден длинный прямоугольник осенней земли...

Артемьев посмотрел ей в лицо и, поняв по нему, что спросил что-то такое, на что она не в состоянии ответить, с усилием восстановил в памяти свой первый нелепый, вырвавшийся из души вопрос: что дальше?

— Я хотел спросить, где это было? Вы знаете?

— Недалеко от шоссе, у кирпичного завода, — сказала она, — там у них барак — лагерь, в километре от этого лагеря...

«Вот и похоронили Машу, — подумал Артемьев, — около кирпичного завода, в километре от бараков... Какой завод, какие бараки, в какую сторону километр... Кто там с ней в могиле, сколько людей, каких, почему и за что их убили?.. Да и там, на Западном, наверное, скоро пойдем вперед. Но найдет ли кто-нибудь, когда-нибудь это место после того, как еще раз прокатится через все это войско... А мать тоже, наверное, лежит в какой-нибудь такой же яме под Гродно, если не убили еще в первые дни где-нибудь на дороге вместе с той маленькой, совсем еще маленькой девочкой, фотографию которой Маша прислала ему перед войной в Читку с надписью: «А это наша с Иваном Таня». Где она теперь, ваша Таня, и где ты, и где твой Иван... Тоже гинет где-нибудь в русской земле... Гинет, вытравившись во весь свой нескладный трехрашинный рост, может быть, так и не успев ни разу выстрелить в немцев... Поскорей бы на фронт...»

— Ладно, — сказал он, продолжая ходить. — Рассказывайте все остальное, если что-нибудь знаете. Вообще все, что знаете, говорите, я ничего не знаю. Приехал зимой сорок первого воевать под Москву с Дальнего Востока и застал вместо дома одно пепелище — ни матери, ни сестры, никого... Ключа от квартиры — не было, двери ломал. Оставили у одного человека, так и тот помер. Хотите верить, хотите нет, за четыре месяца, что здесь в Москве после госпиталя, ни разу дома не ночевал, тоска такая... Один раз с хорошей женщиной ночью крыши над головой не было; она просит — пойдем к тебе, а я не могу, так и не пошел, потому что туда идти, все равно, что на могиле этим заниматься... Извините за грубость, так уж от души сказал, как товарищу, сорвалось просто...

Но она не обиделась, потому что за грубостью слов почувствовала боль и одиночество. Да и по правде сказать, не такое ей приходилось слышать за эти полтора года! Сказала только вдруг неожиданно для него:

— Маша, когда вспоминала про вас, все жалела, что вы не женаты.

И, проследив глазами за тем, как он ходит по комнате, прихрамывая и всю тяжесть тела переносив на одну ногу, спросила:

— У вас какое ранение? Голень перебита, да? Вы бы лучше сели...

— Да, — сказал он и послушно сел.

— Я так и подумала, — сказала она. — Я там много операций делала. Я, правда, врач, но хирургом только там стала...

С этого началась ее рассказ о Маше, которой она очищала от осколков кости открытый, залпленный перелом руки ниже локтя, в ту ночь, когда Машу нашли в лесу после неудачного прыжка и недели скитаний.

Это была рассказ о том чувстве, которое иногда с мгноvenной силой вспыхивает в двух одиноких женских душах и горит сильным, жадным, нерасчетливым пламенем и громоздит друг на друга успешные и страстные откровенности, словно предчувствуя свою судьбу и боясь не наговориться и не надыхаться...

Таня попала в этот, один из первых собиравшихся тогда в смоленских лесах отрядов на десять дней раньше Маши. Время было самое ужасное, все, казалось, говорило, что немцы вот-вот возьмут Москву. Два успешные установились связи с Большой землей рвались одна за другой. Многие из людей, на которых рассчитывали, словно провалились сквозь землю, а люди, на которых никто не рассчитывал, вдруг приходили в лес и присоединялись к отряду.

В эти дни в глухом лесу, в сорока километрах от Смоленска, утром, расстелив плащ-палатку на только что выпавшем снегу, потому что в землянке было темно, одна молодая женщина сделала операцию другой без инструментов и наркоза. Молча выдвигала один за другим осколки кости, иногда взглядывая в лицо той, второй, тоже молчаливой, — исхудавшее от го-

лода, с закушенной до синевы губой и крупными каплями пота на лбу, похожее на лицо роженницы...

С этого молчания и началась их дружба.

А потом, позже, когда они уже успели рассказать одна другой почти все главное, что было до этого в их жизни, вдруг выяснилась одна случайность, незримо связывавшая их между собой раньше, чем они узнали друг друга. Оказалось, что человек, с которым Таня шла из окружения от Могилева, который вместе с Золотаревым тащил ее на закорках через сыпнякские леса, тащил и вытаскивал, и не дал ей застрелиться, оказалось, что этот добрый и хмурый человек, Иван Петрович Синцов, был мужем Маши.

Рассказывая Артемьеву о Маше, Таня рассказывала и о Синцове то немногое, что знала. Но для Артемьева это было много, потому что он не знал о нем ровно ничего. Ни того, что, оказывается, вышел из окружения, ни того, что добрался до Москвы и в последнюю ночь свидания, с Машей говорил ей, что снова пойдет на фронт.

— Буду искать.

— Не надо, — печально сказала Таня, — он погиб...

— Откуда вы знаете?

— Мне Серпилин сказал, я его встретила вчера на улице и спросила, и он сказал, что погиб. В конце сорок первого.

Он посмотрел на нее, и она печально кивнула головой: да это точно, совершенно точно. Серпилин сказал об этом так уверенно, что ей даже не пришло в голову переспросить у него: когда именно погиб Синцов.

— Ладно, — сказал Артемьев после очень длинного молчания. — Расскажите еще про сестру, все, что знаете.

Таня снова показало, что она будет рассказывать ему еще очень долго, но вышло наоборот. Пересказывать ему, мужчине, все, о чем они говорили с Машей, оказалось невозможно. А событий в Машиней партизанской жизни до самого дня ее ухода и гибели было немного.

Просто жила в землянке в лесу и ждала, пока срастется рука, чтобы идти в Смоленск к одной старухе-врачке под видом родственницы.

В Москве, когда ее отправляли, думали, что она будет работать в подполье радисткой, а на месте оказалось все по-другому, держат передатчик в городе было опасно, и решили держать его в лесу, на нем подготовить другого радиста, мужчину, а Машу послать в город связанной, чтобы она при помощи этой старухи-врачки устроилась санитаркой в больнице и передавала записки с воззванием, сданным для больницы в лес за деревьями. Но ей не пришлось этого делать, потому, что она, как пошла, в то же утро попала в облаву...

Через два месяца я сама пошла туда связанной, на эту явку, — сказала Таня. — Было очень нужно все-таки послать туда человека, и я сама вызвалась, но меня сначала не пускали, боялись — вдруг, когда ее там мучали...

Артемьева перевернуло при этих словах.

...Может быть, она не выдержала и выдала явку. Но потом два месяца с этой врачихой ничего не было, и стало уже ясно, что Маша ничего не сказала, и тогда меня все-таки послали... В ту последнюю ночь, когда она уходила в Смоленск, а я тоже уходила с отрядом на операцию, мы обещали друг другу, что если она будет жива, а я нет, то она, когда вернется на Большую землю, найдет моих родных, а если останусь жива я, то буду искать ее мужа или вас. Видите, сколько времени прошло, и все-таки нашла вас. Совсем случайно, вчера утром была у нашего командира бригады в гостинице «Москва», а у него один генерал-майор сидел, который сказал, что он и Машу знал, и вас знает.

— Что их расстреляли или повесили? — глухим голосом спросил Артемьев.

— Расстреляли.

Она поблелела, и ее спокойный до этого голос немножко, самую чуточку, дрогнул, и душу Артемьева захлестнуло свирепое отчаяние, тоска и жалость и к Маше, которую расстреляли, и к этой сидевшей напротив него, поблдевшей девушке в стеганке и ватных штанах, которая, бог ее знает, через что только не прошла и чего только не наглядывалась! Он представил себе, как они, бедняги, сидели обе там ночью в лесу и боялись будущего и усаживались, чтобы та, которая останется жива, рассказала о той, которая умрет...

«Да что же это такое, как мы это позвали, чтобы они там гибли, умирали, чтобы их расстреливали и вешали, и пытали, и наславали, и расстреливали босыми на снегу, и накидывали веревки на тонкие девичьи шеи! Как мы допустили, чтобы это было... Боже ты мой, как все это страшно и стыдно!»

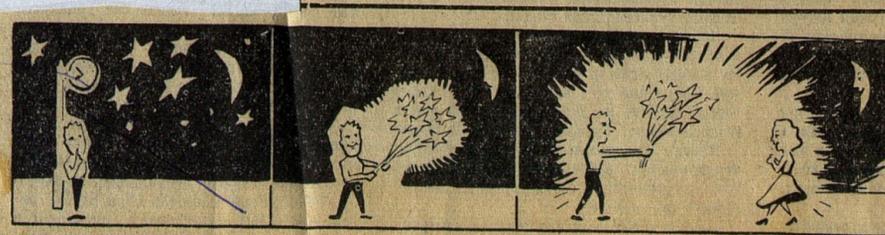
Щемлящая жалость, которая захлестнула его душу сейчас, была уже не только к сестре, а вообще ко всем ним, которые и сейчас еще там и которых продолжают забрасывать туда, в пекло, к черту в лапы, которые и сейчас там попадают, гибнут, идут на виселицы. В Смоленске, в Брянске, в Орле, в Минске, в Киеве... сколько этих проклятых гнезд, этих гестаповских костоломов, из которых не выходят живыми, сколько их по всей России, там, за линией фронта. Подумать страшно...

Он испытывал жестокое, почти нестерпимое чувство мужского, именно мужского стыда за все то, что выпало на долю всех этих девушек и женщин, таких же, как его сестра и как эта вот маленькая, сидевшая против него. В чем душа-то держится!..

«Нет, на фронт, на фронт, скорее на фронт... Бить эту фашистскую сволочь, бить, не щадя, не жалея, до смерти! И пленных не брать! Пусть хоть под трибунал, все равно!»



И НА СЕВЕР ПРИШЛА ВЕСНА...
Рисунок читателя газеты Н. Пивоварова.



БЕЗ СЛОВ.
Рисунок студента В. Намышева.